



Н.С. ЛЕСКОВ



Николай Семёнович Лесков

В тарантасе
(Рассказы)

Николай Лесков

В тарантасе

Утром рано полусонные, всюю компаниею послезали мы с сеновала и как только уселись в тарантас, так начали опять дремать или, как выражался Гвоздиков, «начали удить». Ямщик позевывал и пожимался в своей свитенке; у него тоже «клевала». Бубенчики мелодически погромыхивали и еще более усиливали снотворное влияние ранней зари. Отъехали верст восемь, солнышко уж поднялось над лесом, час был осьмой, в начале. Купец проснулся, зевнул и, перекрестив рот, сказал со вздохом:

– Видно, уж не рано.

Гвоздиков тоже проснулся, протер глаза и сказал:

– Ась?

– Не рано, мол, говорю, видно, – повторил ему купец.

– Неравна рана, Семен Андреевич, иная рана бывает с полбарана.

– Бреши, – отозвался купец, опять зевнул и опять перекрестил рот.

– Чего брехать? Брешет брох о четырех ног. А желтоглазый-то мой! – обратился он вдруг к товарищу. – Ишь, ишь, – продолжал он, ука-

зывая мне на него пальцем. – Клюет у него, клюет. А, а! Смотрите, ишь!

Желтоглазый, качаясь с боку на бок, действительно точно прицеливался и вдруг клюнул в самые колени к купцу, который сидел против него.

Гвоздиков так и покатился.

Желтоглазый, ударившись носом, проснулся, поднял шапку и надел ее на голову.

– Окунь что ли? – спросил надрывающийся со смеха Гвоздиков.

– Окунь, – отвечал молодец недовольным голосом и опять начал клевать.

– Ишь, собака, опять спит! Это ему все с древлего благочестия так приваливает, – сказал Гвоздиков и схватил его за нос. – Я вот тебе нос-то оторву, в моленную и не пустят, скажут, закон, видно, нарушил.

– Полно дурачиться, – отвечал терпеливый сорокалетний молодец. – Чай, не махонький ты!

– Полно, дура молошная! – отозвался приказчик. – Постойка-сь, – прибавил он, обращаясь к ямщику.

Все проснулись. Тарантас остановился се-

редь дороги. Первый полез вон приказчик, за ним купец и все другие, даже и ямщик соскочил... Потом опять поехали.

Едем. Спать уж не хочется, а только позевывается.

– Купцы! – раздается с козел.

– Асиньки? – говорит Гвоздиков.

– Вот то самое место, где я приятеля-то побасловил. А вон видать и селение, вон, вон, – продолжал ямщик, указывая кнутовищем в сторону. – А тут вот за горкой, насупротив самого села на большаке будет «питейный», сладкую и всякую держат, и пива вчера бочку, Гришка баил, привезли.

Он немножко помолчал и потом прибавил:

– А то проезжающие тож как-то пили да попотчевали, так кислое было такое, теперь вот свежего привезли с пивоварни.

– А ты пьешь? – спрашивает купец.

– Теперь не пью, а как поднесут, так выпью.

– А часто подносят?

– Купцы подносят.

– А господа?

– И господа, бывает, подносят. Только реже. Из молодых так ничего, подносят.

Перевалили пригорок. Под взволнок ямщик пустил тройку шибко и за четверть версты не доезжая кабака спросил:

– Не останавливаться што ль?

– Попотчуете, Семен Андреевич? – спросил Гвоздиков.

– А, бес! Ну, ладно.

– Так стой, слышишь, у кабака!

– Хорошо.

Ямщик разом осадил тройку у самых дверей откупного заведения, так что коренная замотала головой и, упершись передними ногами, два раза потянула вожжи, а потом скоротилась, зевнула, показав свои желтые зубы с черными пятнами, и встряхнулась.

– Будь здоров, – сказал ямщик и, обойдя тройку, покачал без всякой нужды запряг. Мы опять постояли у плетня, Гвоздиков бросил желтоглазому куда-то горсть пыли, тот назвал его дураком, а приказчик молошной душой.

Вошли в «заведение». Декорация известная. Стойка. Полки со штофами, полуштофа-

ми и шкаликами, бочка с медным краном, за-
спаный целовальник, нечесаная девочка
лет десяти, а в дверях у перегородки женщи-
на с ребенком на руках и с подбитым глазом.

– Пива што ли? а? – спросил Семен Андре-
евич.

– Что пиво? дрянь. Утром не годится киш-
ки полоскать, – отвечал Гвоздиков.

– Ну чего же? Что там у тебя есть? – спро-
сил он, обращаясь к целовальнику.

Тот обернулся полуоборотом к полкам и,
глядя на них, заговорил:

– Тминная, полынная, сладкая, француз-
ская, ликер, бальзан.

– Давай бальзану!

– Сколько?

– Давай на всех.

– Давай полшкипера! – потребовал Гвозди-
ков.

Целовальник снял полштоф, потрянул его,
взглянул на свет и, поставив на стойку, крик-
нул:

– Аниска!

Девочка подскочила к отцу.

– Где гвоздь?

– Я не знаю-с, – пропищал ребенок.

– Не знаешь? погоди ты! Я вот тебе уже волосенки-то оборву. Ищи скорее, постреленок! Девочка засуетилась.

– Вот, на гвоздь, Митрий Егорыч! – сказала жена, протягивая целовальнику обваленный в свечном сале двутесный гвоздь.

– Небось, сама вчера с сестренкой затащила, – продолжал целовальник, обращаясь к дочери. – Дай срок, я те уши-то оболтаю.

Девочка шмыгнула за перегородку к матери. Целовальник вытащил запечатанную бумажную затычку из полуштофа, обтер своей грязной лапой горлышко и поставил посудину опять на стойку, достал из-под этой стойки стаканчик, к дну которого присохли две мухи. Он выковырнул покойниц ногтем из сосуда, где они восприяли смерть, и, толкнув стаканчик об стойку, поставил его на дно.

– А закусить?

Целовальник опять потянулся под стойку и вынул оттуда деревянную тарелку, на которой лежала какая-то рыба, жаренная в конопляном масле, и положил на край тарелки щепотку соли.

Гвоздиков взял тарелку, понюхал рыбу и сказал:

– *Стервядь*, ай бишь стерлядь.

Выпили. Бальзам оказался самого неприятного вкуса, но такой, однако, крепкий, что откупщик смело мог бы влить в него водицы. Порция была достаточная, и выпей ее каждый из нас дома – голова пошла бы кругом, а в дороге ничего. Стерлядь тоже всю съели. Ямщику поднесли стаканчик, и на закуску он взял пару засиженных мухами баранков. Повеселели. Все уселись.

Началась беседа. Головинщинский крестьянин по обыкновению повернулся лицом к «обществу», сидящему в тарантасе, и, вероятно, под влиянием вчерашнего рассказа нашего ямщика спросил:

– И отчего бы это воровство было в нашем народе?

– Во всяком народе есть воровство, – отвечал купец.

– Где народ, там и воровство, – заметил приказчик.

– Ну, нет-с. Вот у немцев нет воровства, – возразил Гвоздиков.

– Как нет! Не может быть!

– Истинно говорю, нет, и у шведов теперича тоже нет-с: мне артельщики в Петербурге рассказывали.

– Врут.

– Чего же им врать?

– Врут, да и только.

– Нет, у немцев воровства нет, а мошенничество у них точно бывает.

– Не все одно, что вор, что мошенник?

– Ну, нет-с. Равно, да неравно. Вор теперича всякий может быть: и из солдат, и из мужиков, а уж смошенничать ему против немца не удастся. Оттого и артельщики говорили, что из немцев все больше мошенники выходят.

– Врут твои артельщики. А шведы, говоришь, не воруют? – спросил приказчик.

– Не воруют.

– А замки шведские кто делает?

– Шведы.

– Ну, коли замки делают, так значит и воруны у них есть.

– Это точно. Как же это мне артельщики не говорили? А замки точно что шведские есть,

и еще сердцевина в них этак на шестеренке поворачивается.

– Вот тож и есть.

Молчание.

– Ну, а англичане? – опять спрашивает крестьянин.

– Англичане и дома совсем никогда не живут, – отвечает купец, – они все в разъезде, потому им и воровать-то некогда.

– Должно, все по торговой части? – спрашивает крестьянин снова.

– Известно, купцы все.

– А кто ж у них при домах-то остается?

– Женский пол.

– Тек-с. Один женский пол! – Крестьянин покачал головой.

– Ну, а господа у них есть? – добивается он снова.

– Какие у них господа! У них и царя-то заправского нет.

– Как же, так без царя и правят?

– Без царя.

– Тек-с. – Мужичок опять закачал головой от недоумения. – Отчего ж это они все торгуют?

Купца стали затруднять ответы, и он сказал:

– А так, охоту к этому имеют и торгуют.

– Так им определено, – сказал хранивший молчание желтоглазый.

– Кем определено-с?

– Свыше.

– Свыше?

– Свыше.

Мужичок опять сделал «тек-с» и покачал головой.

– Ты почему это знаешь? – спросил приказчик.

– От верных людей слышал.

– Что ж ты слышал?

– Что всякий это народ живет не своим произволением, а как кому, значит, линия назначена.

– Кто же ту линию-то проводил?

– Был такой человек.

– Все врет желтоглазый, – вмешался Гвоздиков.

– Врет, да не я, – отвечал молодец.

– А ты, коли знаешь, говори толком, – сказал приказчик.

– Да что говорить! Говорить можно, потому от верных людей слышал.

– Где ему слышать! – сказал опять Гвоздиков и подмигнул мне глазком.

– Не по-твоему ж, брехать не стану на ветер, – отвечал Анфалов: желтоглазый Анфаловым прозывался.

– А не брешешь, так говори.

– И расскажу.

– Ну, говори.

– А ты-то молчи, висельник! – отозвался к Гвоздикову приказчик.

Говор прекратился, и даже ямщик крикнул на лошадей свое «ну» как-то полегонечку.

– Извольте видеть, – начал Анфалов, – в древние еще времена, вскоре после Христова вознесения, когда по всей земле процветало древнее благочестие, ходил по миру странник. Ходил это он из города в город, из деревни в деревню и поучал народ на Божие угодие, чтоб жить, значит, по-Божеству, как Бог повелел.

– Да ладно, расписывай еще! – крикнул Гвоздиков.

– Ну-с, – продолжал Анфалов, не обращая

на него внимания, – и пришел этот странник в сборную страну.

– Какая такая сборная страна? – спросил приказчик.

– Такая, выходит, страна, в которой со всех концов люди согнаны были и вместе слову Божию поучались. Теперь этой страны нет, а в те дни была. Теперь Рим-город на ней, говорят, построен, и сидит в нем папа римской. Пришедши теперича в эту самую страну, и начал странник поучать люди. Того, говорит, не делайте, этого не делайте, а вот сие, говорит, творите. Поучает. И не понравься это поучение его сборному царю, а был он жестокий и злочестивый. Не понравилось ему это учение, он и шлет за странником и говорит ему: «Так и так, говорит, ты у меня моих подданных смущаешь, мне твои поучения не нравятся, изыди, говорит, из пределов сия страны». А странник ему и отвечает: «Я, говорит, царь-государь, супротив тебя ничего не делаю, а только, говорит, народ к единению во Христе, братству призываю». «Не надо, говорит, мне этого, к чему ты их призываешь». «Ну, как, говорит, твоей душе угодно, а я, гово-

рит, не выйду из сия страны, пока своего дела не окончу».

Такой ответ царю за огрубность показался. Вспыхнул он это своею яростию и велел воинам взять того странника, пригвоздить его к доске и пронзить стрелами.

– Стрелами? – подсказал с удивлением крестьянин.

– Стрелами.

– Стало, уж насмерть?

– Насмерть. Ну, взяли его воины и выводят из царских палат, а на дворе стоит народ. Странник-то проходит мимо народа, да и говорит: «Иду, говорит, за вас смертью умерети». А они ничего, только друг на дружку озираются. Привели воины этого странника к месту казни, пригвоздили его к доске и пустили в него стрелы, только все те стрелы от него отскочили. Видемши воины этакое чудо, что странник неуязвим от стрел, пошли к царю спросить, как он теперь велит того странника смерти предать? А народ тут уж понял, что странник этот как есть богоугодный человек, да к нему. Прибегли к доске-то, а никто за нее не берется, потому сборный народ: тот гово-

рит то, а другой другое. Видят это англичане, что таким манером ничего не будет, посоветовались промеж своих, да и говорят страннику: «Господине честный! Хочешь, мы пойдем к царю и тебя у него отторгуем?» А странник видит это, что сколько он ни учил в сборной стране и пострадал за нее, а все никакого единогласия в ней нет; покачал головою, вздохнул ко Господу, да и говорит им: «Не умели отстоять, говорит, меня всем миром, теперь, говорит, мне ваша застоя некстати. Идите, говорит, торгуйте целую жизнь». Так по его слову, как он сказал, словно невидимой силой какой завернуло этих англичан, и пошли они все из сборной страны торговать по свету.

– Вот оно отчего они так! – проговорил крестьянин.

– Да. Ну-с, как ушли англичане, подходят это к доске, на которой мучится странник, французы. Народ разбитной, вертлявый, все не хуже нашего Гвоздикова, да и говорят: «Господине честный! Хочешь, говорят, мы тебя отвоюем?» А он опять им в ответ: «Не умели, говорит, отстоять меня вовремя всем ми-

ром, теперь мне вашей застой не надо, идите, говорит, воюйте целую жисть». Завернулись от него французы и пошли воевать, и по се два дня все воюют, и все толку у них нету. Видемши теперь все это, наши русские, что, к примеру, ни отъемом он спастись не хочет, ни на откуп тоже нейдет, и говорят ему: «Господине честной! Давай, говорят, мы тебя уворуем?» Хотели, выходит, так сделать, чтоб никакого убийства и ничего б не было. А он им опять так же отвечает: «Миром, говорит, меня отстоять не сумели, теперь, говорит, идите и воруйте всю вашу жизнь».

Крестоянин тсыкнул и сказал:

– Ах, ты, Господи!

– Да, – продолжал Анфалов. – Вот как разошлись это все, куда кого послал странник, воины и вернулись от царя с пребольшущим железным костылем,[1] наставили этот костыль страннику прямо против сердца и пробили им насквозь его грудочку. А он ни разу и не вскрикнул, только воздохнул ко Господу и сказал воинам: «Скажите, говорит, вашему царю злочестивому, что на мое место, говорит, другие придут, из каждой, говорит, из

капли моей крови по человеку вырастет, и станут те люди поучать народ любви и единой душию», – да так и испустил свою душеньку ко Господу.

Рассказ на всех произвел довольно сильное впечатление; все молчали. Анфалов вытаскивал носовой платок, обтер им лицо и стал смотреть в сторону на мелкий кустарник, росший с боку дороги. Головинщинский крестьянин, опершись рукою о задок козел, покачивался и вопросительно глядел в глаза то купцу, то мне, то приказчику. Купец первый перервал молчание.

– Стало быть, по-твоему, с того у нас и воровство? – спросил он Анфалова.

Анфалов повернул голову и отвечал:

– С того с самого.

– Что-нибудь не так.

– Отчего не так?

– Да оттого, что не так. По-твоему, значит, все англичане теперича торгуют, ну, это пускай правда, а насчет русских, либо французов, что-нибудь не так. Французы вот теперь, тож не все воюют; на чугунке сколько их? неш там какая война производится?

Ямщик рассмеялся.

– Пьяные, – сказал он, – воюют и там. Ребята наши там-то с ними работали, так сказывали, что во хмелю у-у шельмы такие ядовитые, что на. Одно слово, озорники, все норовит нашего брата в рыло попасть.

– И воры тож есть? – прибавил купец.

– Это уж как есть! Ребята сказывают, даже своих набольших в этом художестве попрекают; тверезые, говорят, ничего, а как выпьют – сейчас этим самым и попрекают.

– А вот твоя сказка-то, брат, и не приказка, – отнесся купец к Анфалову. Тот как будто смешался.

– Да ты сам, что ли, читал об этом?

– Нешто я сказал, что сам читал? Я не читал, а говорю, что от верного человека слышал.

– Ну, значит, твой верный человек тебе и соврал, а ты по нем повираешь.

Гвоздиков быстро повернулся и, в одну минуту схватив Анфалова за нос, начал его трести, приговаривая:

– Ведь говорил тебе, желтоглазому, что соврешь, так и соврал, собачий сын!

– Полно, не дури! – отвечал Анфалов, вы-
свободил нос и опять отвернулся в сторону.

– Аль осерчал? – спросил его Гвоздилов, но
Анфалов ему ничего не ответил. Видно было,
что он серьезно обиделся.

– Нет, купцы, мне вот тоже рассказывал об
этом об самом один человек совсем по-друго-
му, так-то, должно, что не поверней ли будет.

– Что ж тебе рассказывали?

– А видите, отвозил я раз одного тоже бари-
на или какого приказчика парой, на своей теле-
ге на ту самую станцию, с которой вы вечер
приехали. Отвез, покормил маленько лоша-
дей, да и ко двору. Еду, знаешь, лежу в теле-
ге-то на сене, да трубочку, вот как теперь, по-
кураиваю, а кони помаленьку идут. Только
отъехатчи этак верст с пять, али более, не
помню уж теперь, вижу – идет человек в чер-
ном холодае,[2] и на голове надета черная вы-
сокая шапочка. В руках палочка, и идет тако-
во-то бодро, только той палочкой помахивает,
а на плечах кожаная сумка крест-накрест че-
рез грудь на холстинных помочах надета.
Подсажу, думаю, подвезу. Человек странный,
Бог за милостыню примет, а может, что и от

писания порасскажет. Поравнялся с ним, да и кричу ему: садись, говорю, подвезу. А он глянул, да опять, знай, шагает. Не слышал, думаю, да опять говорю: садись, мол. Он смотрит, а с протувара все не сворачивает. Садись, – сказал я уж втретье, ай глухой? Садись – кнутовищем-то ему на телегу показываю. А он и отвечает мне: «Коли усердие, говорит, имеешь, брось свою соску». Э! Думаю, должно, из ставеров, а сам взял да трубку за сапог и ткнул. Смотрю – подходит.

Анфалов взглянул на ямщика и стал слушать с напряженным любопытством.

– Аль своих почуял? – спросил Гвоздиков.

– Тьфу, пусто тебе будь, – сказал Анфалов и опять отвернулся в сторону.

Ямщик продолжал:

– Подошел и на ходу влез в телегу. «Не устал?» – спрашиваю. – «Ничего, говорит, Господь подкрепляет». – «Куда, спрашиваю, идешь?» – «Куда Богу, говорит, угодно». – «А откуда?» – «Из разных, говорит, местов». Был та-то он везде: и в Киеве, и в Воронеже, и в Словках, и в Русалиме-граде, и ловко обо всех об них так рассказывает, только, говорит, в

вашей вот вере и в тех городах спастись никак не возможно, потому что на всех на вас невидимая печать антихристова лежит. И дошли мы таким манером до разговора до всякого; рассказал он мне, с чего взялся в человеках и блуд, и воровство, и пьянство, и всякие грехи. Только он вот как сказывал: был, говорит, святой человек, которому сам Бог из своих из рук дал заповеди, и были те заповеди написаны Божьим перстом на каменных плитах. Все там было как следует сказано: не украдь, не убей, не любодеествуй, – все, чему нужно быть. И понес этот святой те плиты с превысокой горы, чтобы отдать их народу, да ненароком как глянул вниз, так и обмер. – Народ-то, не дождамшись его, врагу предался. Музыка этта у него там, танцуют, пляшут, приставляют киастр, грех такой, что и на. Хорошо. Вот как увидел все это святой-то, рученьки-то у него и опустились, а плиты-то из них ерзь, да и покатились: покатились и разбились. И так они там под горой-то под той разбились, что только кусочки одни стали. Видит это народ, что согрешил он, и давай те кусочки собирать. Собрать-то собрали, а сло-

жить никак не сложат, а святой, знаешь, уж
виден, по горе-то сходит, и вокруг его сияние
сияет. Как увидал это его народ, испужался,
да в страхе-то кто какой кусок держал, с тем и
бежал. И бежали все в разные стороны, у кого
куда светило. А святой тот сошел, разбил бол-
ванов их что ли каких – вот, к примеру, вроде,
как вам сказать, калмыцких бурханов – да и
говорит тем, что остались, которые, значит,
себя соблюдали без него: «Вы, говорит, не пе-
чальтесь, я вам другие заповеди принесу». По-
шел опять на гору и принес новые, Бог ему их
там, выходит, опять дал. Теперь, взявши те
люди у него эти заповеди, так по Божьему
приказанию по ним и живут, а те, значит, что
разбежались-то, кто с каким куском побег,
тот то и творит. У кого на куске-то осталось
«убей», а запрет-то отвалился, тот нипочем
убийство и не ставит; тож самое и воры, и
другие прочие, все, кто пошел с этими с раз-
битыми заповедями. А из тех, что подобрали
куски, на которых написаны те запреты,[3]
что к заповедям принадлежали, вышли бро-
дяги, не помнящие родства. Что их ни пыта-
ют, все у них один ответ: не знаем, да не пом-

ним. Потому, говорит, и во всяком царстве, и у немцев, и у нас теперь есть воры и блудницы, и опять во всяком звании, и в господском, и в купеческом, и в нашем.

Ямщик замолчал.

– Вот это скорее похоже на правду, – сказал купец.

– Я тоже это слышал, – заговорил Анфалов.

– Ну, ты опять соврешь, – буркнул Гвозди-ков.

Анфалов завернулся.

– И чтоб увидеть этот настоящий завет, – опять начал ямщик, – говорит он, надо всем, кто теперь живет по разбитым заповедям, сходить в стародубские слободы и принять там от старцев басловение, да прямо оттуда, не заходя ко дворам, идти в Русалим-град. Там, говорит, всякое душевное исцеление восприимешь и к истинному завету пристанешь.

– Там всяка плоть немощствующая исцеление приемлет, – сказал не утерпевший Анфалов.

– Что?

– Всякая плоть немощная, говорю, там исцеление приемлет.

– А ты почему знаешь? Был ты там? – спрашивал вечный антагонист Анфалова Гвозди-ков.

– Был! Мало чего не был, да знаю.

– Верный человек, что ли, опять сказывал?

Все засмеялись.

– Нет, не человек сказывал, а сам читал.

– Ты глядишь-то в книгу, а видишь, небось, фигу.

– Трифон Корабейников то же самое в своем путешествии повествует, – подтвердил приказчик.

– А правда, что там в Ерусалиме самый пуп земли? – спросил все качавшийся на локте голловинщинский крестьянин.

– Об этом и сказание есть, – ответил Анфалов.

– Врешь!

– Мне сказывали, – продолжал крестьянин.

– И я сам в гражданской книжке читал, да и в кватре, в Москве бывши, слышал, как это актер перед всей публикой подтверждал, – прибавил Гвозди-ков.

– А, дура! – заметил приказчик. – В гражданской книжке читал! А, дура, дура! Да что в

тех книжках-то пишут?

– А что-с?

– Тьфу, дурак, право, дурак. – Приказчик плюнул.

– Ну-с, а актер-то в Москве подтверждал?

– И актер тот такой же дурак, как и ты.

– Да ведь он не сам от себя, чай, а с книжки.

– С книжки, с книжки. Что тебе те книжки-то? Учиться на собак брехать, либо что? Все одно, – продолжал он, – взять те книжки, порвать их на листы, да теми листами...

С козел раздалось громкое протяжное тпру-у и не дало нам услышать последних слов приговора листам гражданской печати.

Мы стояли перед избою, где была смена.

Нужно было вставать, размять сомлевшие члены. Слезли, отряхнулись, потянулись и пошли опять пыхтеть за самоваром.

Со временем, быть может, так ездить уж не будут на Руси, и тогда, пожалуй, и разговоры такие повыведутся, а пойдут совсем другие.

Впервые опубликовано – газета «Северная пчела», 1862.

Примечания

1

Костыль – большой гвоздь, несортовой. Костыли отковываются нарочно, и размер их соответствует надобности, для которой они предназначаются – *Прим. Лескова.*

[^^^]

Вроде халата из нанки или легкой шерстяной материи домашнего крестьянского тканья –
Прим. Лескова.

[^^^]

Частицы «не» – *Прим. Лескова.*

[^^^]